

Gustav
MEYRINK
1868–1932

Густав
МАЙРИНК

*Вальпургиева
ночь*



Санкт-Петербург

УДК 821.112.2(436)
ББК 84(4Авс)-44
М 14

Перевод с немецкого Владимира Фадеева

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

© В. Фадеев (наследник), перевод,
комментарии, 2018
© Г. Снежинская, комментарии, 2018
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-14697-6

Вальпургиева нощ

Глава первая

АКТЕР ЗРЦАДЛО

За окном взлаял пес.

Раз и еще.

Потом настороженно умолк, будто вслушиваясь в ночь и пытаясь учуять, какими она чревата событиями.

— Мне кажется, это всполошился Брок, — сказал старый барон Константин Эльзенвангер, — надо полагать, сейчас пожалует господин гофрат.

— Тем паче нет резону брехать, — строго заметила графиня Заградка — старуха с белоснежными буклями, орлиным носом и кустистыми бровями, осенявшими черные, как тихие омуты, глаза, — словно ее покорило дерзкое нарушение приличий. Она начала еще проворнее тасовать колоду для игры в вист, хотя уже полчаса только этим и занималась.

— А что, собственно, он делает весь божий день? — полюбопытствовал императорский лейб-медик Тадеуш Флюгбайль. Умное, гладко выбритое лицо в глубоких морщинах и старомодное кружевное жабо — этого господина можно было принять за призрак давно опочившего предка, который примостился напротив графини в кресле с подголовником, подтянув свои бесконечные тощие ноги так, что колени чуть ли не упирались в подбородок.

Здесь, на Градчанах, студенты окрестили его Пингвином и провожали неудержимым хохотом всякий раз, когда ровно в полдень он усаживался у ворот замка в крытые дрожки, с которыми кучеру приходилось изрядно повозиться, приподнимая и вновь закрепляя верх экипажа,

чтобы в нем могла поместиться почти двухметровая фигура Флюгбайля. Столь же канительная операция проделывалась через несколько минут пути, когда седоку предстояло ступить на тротуар перед дверями трактира «У Шнелля», где господин лейб-медик имел обыкновение поедать второй завтрак, рывками сгибаясь над столом и по-птичьи склевывая горячие куски.

— Кого ты имеешь в виду? — спросил барон Эльзенвангер. — Брока или гофрата?

— Разумеется, господина гофрата. Чем он занят весь день?

— Небось играет с детьми в Хотковых садах.

— С детьми, — поправил Пингвин.

— Нет! Он-играется-с-детьми, — вмешалась графиня, отдельно и со значением отчеканив каждое слово домо-таного немецкого языка градчанской аристократии.

Смушенные старики молчали.

В парке вновь залаял пес, вернее, теперь уже глухо взвыл. И тут же открылась темная, красного дерева дверь с живописным изображением пастушков и пастушек, и в комнату вошел гофрат Каспар фон Ширндинг, как обычно поспешая в урочный час сыграть в вист с гостями городского замка барона Эльзенвангера.

С быстротой горностая и не вымолвив ни слова, он подбежал к креслу, бросил на ковер свой цилиндр и церемонно поднес к губам руку графини.

— И что это он нынче так разошелся? — задумчиво пробормотал Пингвин.

— На сей раз он имеет в виду Брока, — пояснила графиня Заградка, рассеянно взглянув на Эльзенвангера.

— Господин гофрат просто упарился. Смотрите у меня, не простудитесь! — с озабоченным видом воскликнул барон и вдруг по-петушиному, но с фиоритурами оперного певца крикнул в сторону смежной комнаты, где, как по мановению волшебной палочки, тут же зажегся свет: — Божена! Божена! Бо-жена-а! Будь любезна, supperläh!¹

¹ Ужин (искаж. англ.).

Все проследовали в столовую и сели за большой обеденный стол. Только Пингвин, гордо выпрямившись, будто трость проглотил, прохаживался вдоль стен и восхищенно, словно впервые видя, разглядывал на гобеленах сцены поединка Давида и Голиафа и рукой знатока поглаживал роскошную гнутую мебель времен Марии-Терезии.

— А я был в низах, в Праге! — выпалил гофрат фон Ширндинг, прикладывая ко лбу аршинный носовой платок в красно-желтую крапинку. — И не преминул постричься.

Он сунул палец за воротник, как бы почесывая шею.

Эту новость как свидетельство неукротимо буйного роста волос он обыкновенно сообщал раз в четыре месяца — будто никому не было известно, что он носил парики, попеременно с длинным и коротким волосом, — и всегда в подобных случаях слышал изумленный шепоток. Но на этот раз — никакого почтения: всех шокировало упоминание места, где он побывал.

— Что-что? В низах? В Праге? Вы? — остолбенев, ужаснулся лейб-медик Флюгбайль.

— Вы? — не веря ушам своим, вторили барон и графиня. — Там? В Праге?

— Так... надо ж было... мост... перейти! — обретая дар речи, но запинаясь, произнесла графиня. — А кабы он рухнул?!

— Рухнул!! Помилуйте, сударыня! Не приведи Господь! — хрипло запричитал барон. — Чур меня! Чур!

Он подошел к каминной нише, перед которой еще с зимней поры лежало полено, трижды сплюнул и бросил его в холодный камин.

Божена, служанка, в драном халате, косынке и с босыми ногами — как это заведено в старых патрицианских домах Праги, — появилась с великолепным тяжелым блюдом из чеканного серебра.

— Ага, бульон с колбасками! — пробормотала себе под нос графиня и с довольным видом опустила лорнет. Пальцы служанки в великоватых для нее лайковых пер-

чатках едва не омывались бульоном, и старуха приняла их за колбаски.

— Я ездил на трамвае, — задыхаясь, доложил гофрат, все еще взволнованный пережитым приключением.

Барон и графиня обменялись взглядами: так мы ему и поверили. А лейб-медик сидел с окаменевшим лицом.

— Лет тридцать назад я последний раз был внизу, в Праге, — простонал барон и, мотая головой, повязал себе салфетку, кончики которой стали как бы продолжением ушей, придавая ему сходство с большим напуганным зайцем. — В те дни, когда мой брат был со святыми упокоен в Тынском храме.

— А я за всю жизнь ни разу не спускалась в Прагу, — с дрожью в голосе сказала графиня Заградка. — Я бы с ума там сошла. На Староместской площади казнили моих предков!

— Но когда это было, почтеннейшая? В Тридцатилетнюю войну, — попытался успокоить ее Пингвин. — Дела давно минувших дней.

— Полно вам. Для меня это как сегодня. А все проклятые пруссаки!

Графиня тупо уставилась в тарелку, обескураженная тем, что в ней нет ни одной колбаски, и, подняв лорнет, обшарила взглядом весь стол в поисках похитителя.

Но тут же впала в глубокую задумчивость.

— Кровь, кровь, — тихо закрикала она. — А вы знаете, как она брызжет, когда человеку отсекают голову... Вам не страшно, господин гофрат?! Что, если бы внизу вы попали в пруссачьи лапы? — уже возвысив голос, обратилась графиня к фон Ширндингу.

— Какие там лапы, сударыня, — подал голос Пингвин. — Мы с пруссаками рука об руку — я имею в виду теперешних пруссаков, с коими нас связал союз в войне против русских («Вот именно *связал!*» — веско вякнул барон Эльзенвангер), и мы ведем ее плечом к плечу. А он... — Пингвин деликатно умолк, заметив ироничную, скептическую улыбку на лице графини.

Разговор пресекся. И в течение получаса тишину нарушало только позвякивание ножей и вилок и легкий

застольный шум, когда босая Божена подавала новые блюда.

Барон Эльзенвангер вытер салфеткой губы.

— Ну что ж, господа! А теперь прошу к другому столу, вист...

Какой-то замогильный, протяжный вой пробился сквозь летнюю ночь в окна залы и прервал речь хозяйина...

— Йезус Мария... Это же зловещий знак. Смерть бродит вокруг дома!

— Тихо, Брок! Цыц, кабыздох проклятый! — донесся из парка приглушенный голос слуги, прежде чем Пингвин раздвинул атласные шторы и открыл стеклянную дверь, ведущую на веранду.

Поток лунного света хлынул в залу, и под натиском прохладного, напоенного ароматом акаций ветерка затрепетали и начали гаснуть огоньки свечей в хрустальных люстрах.

За парковой стеной расплывалась красноватая дымка выдыхаемого Прагой чада, там, внизу, на том берегу Влтавы, а по узкому, не шире ладони, карнизу стены медленно шагал какой-то человек с неестественно прямой спиной и вытянутыми, как у слепого, руками.

Призрачная фигура, временами пропадавшая в черном кружеве ветвей, казалась то гроздью капель лунного света, то воспарившим над мраком существом с четкими очертаниями.

Императорский лейб-медик Флюгбайль отказывался верить глазам, он уж было подумал, что все это лишь сон, но внезапный яростный лай вывел его из забытья. Тут раздался пронзительный крик, и Пингвин увидел, как фигура на стене покачнулась и мгновенно исчезла, словно ее сдуло бесшумным ветром.

По треску и шуршанию ветвей он догадался, что человек упал на землю в парке.

— Убийцы! Грабители! Стража! Позвать стражу! — завопил фон Ширдинг, вскочив со стула с душераздирающим криком. Наперегонки с графиней он бросился к двери.

Константин Эльзенвангер со стоном бухнулся на колени, уткнул лицо в подушку кресла и, продолжая сжимать в руке ножку жареной курицы, начал нашептывать «Отче наш».

Повинуясь зычным командам лейб-медика, который, подобно гигантской птице, размахивал в темноте своими бесперыми крыльями над перилами веранды, из домика привратника в парк прибежали слуги с допотопными фонарями и принялись, перекрикивая друг друга, обшаривать заросли.

Брок, вероятно, уже обнаружил злодея, поскольку лаял теперь громко и с выжидательными паузами.

— Ну что, дождались прусского казака? — сердито кричала в распахнутое окно графиня, которая с самого начала не выказала ни малейших признаков страха или волнения.

— Матерь Божья, он же шею сломал! — жалостливо заголосила Божена.

Безжизненное тело незваного гостя вынесли из мрака, ступившегося у основания стены, и бросили на газон против окна, как раз на полоску света.

— Тащите его наверх. Да побыстрее. Пока он не истек кровью, — невозмутимо и бесстрастно распорядилась графиня, не обращая внимания на визгливые протесты хозяина дома, который настаивал на том, чтобы мертвеца сбросили с обрыва за стеной, а то, упаси Господи, еще оживет, каналья.

— Или тогда уж несите его хотя бы в галерею, — взмолился Эльзенвангер, при этом ему удалось затолкать графиню и Пингвина, прихватившего канделябр, в зал предков и прикрыть за ними дверь.

Никакой мебели, кроме резных стульев с золочеными спинками да одного-единственного стола, а само помещение, длинное, как коридор, с застоявшимся спертым воздухом и ровным слоем пыли на каменном полу, по всей видимости, не проветривалось с тех давних пор, когда сюда в последний раз ступала нога человека.

Портреты без рам — изображенные в полный рост предки — были как бы врезаны в деревянные панели стен: суровые мужи в кожаных колетах и с пергаментными свитками во властных дланях, а на дамских портретах — высокие, как у Марии Стюарт, воротники и рукава с буфами; рыцарь в белом плаще с мальтийским крестом; молодая дама в пышной шапке пепельных волос, кринолин, мушки на щеке и подбородке, хищно-сладо-страстная улыбка, руки изящной лепки, узкий прямой нос, нервные, трепетные ноздри и тонкие выгнутые брови над синими с зеленоватым отливом глазами; монахиня-барнабитка; паж; кардинал с костлявыми пальцами аскета, свинцово-серыми веками и тусклым взором опущенных глаз. Вот так и расположились они в своих неглубоких нишах, словно явившись сюда из темных закоулков замка, когда их длившийся веками сон потревожили огни свечей и суматошные крики за окном. Казалось, все они затаили желание раскланяться друг с другом, но крайне осторожно, чтобы шорох одежд не выдал их немного общения; порой даже возникало впечатление, будто они о чем-то говорят движениями губ, шевелят пальцами, поднимают брови, чтобы опять застыть в полной неподвижности, задержать дыхание и остановить сердце, едва уловив на себе взгляды двух стоявших внизу живых фигур.

— Вам его не спасти, Флюгбайль, — сказала графиня и почему-то выжидательно уставилась на дверь. — Будет, уж вы-то знаете! Ему вонзили кинжал в самое сердце. Опять скажете: человеческое искусство тут бессильно.

Императорский лейб-медик сначала не понял, о чем она. И вдруг догадался. Он знал кое-какие причуды графини. Она путала прошлое с настоящим, и временами это выражалось в ее поступках.

Тот же образ, что затмил в ее памяти настоящее, внезапно ожил и в сознании Флюгбайля. Много лет назад в покои градчанского замка графини внесли тело ее заколотого сына. И этому предшествовали тревожные знаки — крики в саду и собачий лай. Все как сегодня. И сте-

ны залы, где тогда находилась графиня, были увешаны портретами предков, а на столе стоял серебряный канделябр. Власть воспоминаний была столь велика, что лейб-медик пребывал в сомнении относительно бедолаги, которого уже доставили на носилках в галерею и осторожно опустили на пол. Флюгбайль сочувственно смотрел на графиню, подыскивая слова утешения, как тогда, десятки лет назад, пока вдруг не осознал, что это вовсе не ее сын, а рядом не молодая дама прежних времен, а убогая сединой старуха.

И тут его охватило ощущение, опережавшее всякую мысль и всякую попытку логического уразумения, это была смутная и мимолетная догадка: так называемое время есть не что иное, как дьявольский комедийный трюк, которым всемогущий незримый враг морочит мозг человека.

И теперь его страшило только одно — забыть мгновенное внутреннее озарение, на которое он раньше не был способен; теперь он мог объяснить странные душевные состояния графини, когда она воспринимала стародавние события семейной хроники как вчерашние и сегодняшние и как бы вживляла их в повседневную жизнь.

Словно повинаясь неодолимой силе, его уста произнесли: «Воду! Бинты!», как и тогда, он склонился над неподвижным телом и извлек из нагрудного кармана ланцет, который по старой, уже ненужной привычке всегда носил с собой.

Только когда чуткие пальцы лейб-медика подсказали ему, что перед ним вовсе не бездыханное тело, и взгляд случайно скользнул по обнаженным белым ляжкам Божены, которая со свойственной чешским молодым людям беззастенчивостью высоко задрала юбку, присев на корточки, он окончательно вернулся к реальности: картины прошлого отступили при виде ужасающего контраста между цветущей юной плотью и мертвенно-бледным телом, между призрачными образами парадных портретов и неприглядно-старческими чертами графини; прошлое рассеялось, точно кися туман, застилавшего все сущее.

Камердинер поставил канделябр на пол, при его свете отчетливо обрисовалось лицо, поражавшее почти фантастическим своеобразием: бескровные губы пострадавшего казались отлитыми из свинца и какими-то противоестественными на ярко-красном фоне размалеванных щек; незнакомец скорее напоминал восковую балаганную куклу, чем человека из плоти и крови.

— Святой Вацлав, это ж Зрцадло! — ахнула служанка и смущенно оправила юбку, будто почувствовав на себе похотливый взгляд пажа, который благодаря освещению, казалось, внезапно прозрел в своей стенной нише.

— Кто? — удивленно спросила графиня.

— Зрцадло, то бишь Зеркало, — пояснил камердинер, переведя чешское имя на немецкий, — так его прозывают здесь, наверху, наши градчанские, а как его звать на самом деле, не могу знать. Он снимает угол у этой... — камердинер стыдливо замялся, — у... как ее... ну... у Богемской Лизы.

— У кого?

Божена прыснула в кулак, да и вся прочая челядь едва сдерживала смех.

— У кого? Я спрашиваю!

— Богемская Лиза была когда-то знаменитой гетерой, — вмешался лейб-медик, вставая во весь рост. Тот, кого сочли было мертвецом, уже подавал признаки жизни, по крайней мере заскрипел зубами. — А я, право, не знал, что она еще жива и таскается по Градчанам. Должно быть, совсем одряхла. Скорее всего, она живет...

— В Мертвецком переулке, — услужливо подсказала Божена, — там распутных девок как грязи.

— Так приведи сюда эту прелестницу! — распорядилась графиня.

Служанка поспешила расстаться.

Между тем человек на носилках пришел в чувство, какое-то время он не сводил глаз с горящих свечей, затем медленно поднялся, не удостоив окружающих ни малейшим вниманием.

— Вы думаете, он замышлял грабеж? — вполголоса спросила графиня, обращаясь к слугам.

Камердинер покачал головой и постучал пальцем по лбу, намекая на то, что считает незваного гостя сумасшедшим.

— Я полагаю, это случай так называемого сомнамбулизма, — изрек свое заключение Пингвин. — В полнолуние страдающие этим недугом люди испытывают необъяснимую тягу к хождению, что сопровождается всякими странными, бессознательными действиями, взбираются на деревья, крыши и стены и зачастую могут уверенно шагать по узкой, как жердь, дорожке на головокружительной высоте, скажем, по водосточному желобу, на что никогда не осмелились бы в бодрствующем состоянии.

— Эй, пан Зрцадло, — окликнул он своего пациента, — до дома-то доберетесь?

Лунатик ничего не ответил, хотя, похоже, услышал вопрос, даже если и не понял его. Он медленно повернулся к императорскому лейб-медику и остановил на нем взгляд своих неподвижных пустых глаз.

Пингвин невольно отпрянул, задумчиво поскреб рукой лоб, роясь в памяти, и недоуменно произнес:

— Зрцадло? Нет. Первый раз слышу. Но ведь я знаю этого человека! Где же я его видел?!

Перед ним стоял высокий, худощавый и смуглый мужчина. Спутанные лохмы седых волос, узкое безбородое лицо, тонкий крючковатый нос, покатый лоб, впалые виски и кривившиеся в вечной усмешке губы да еще нелепые румяна и потертое пальто из черного бархата — все это составляло столь несуразный образ, что он казался порождением нелепого сна. «Прямо древнеегипетский фараон, выбравший облачение комедианта, чтобы никто не узнал его мумию», — эта сумбурная мысль мелькнула в голове лейб-медика, когда он ломал голову: «Почему же я не могу вспомнить, где видел столь экстравагантного типа?»

— Да это покойник, — произнесла графиня то ли себе под нос, то ли адресуясь к Пингвину, и без тени стра-

ха и смущения, точно перед ней стояла статуя, принялась рассматривать чудака, чуть не тыча ему в лицо лорнетом. — Такие высохшие глазные яблоки могут быть только у трупа. Сдается мне, он совсем окоченелый. Как повашему, Флюгбайль?.. Да не трясись ты, Константин. Ну прямо как старая баба! — крикнула графиня в сторону столовой, в полуоткрытых дверях которой показались бледные испуганные физиономии гофрата фон Ширндинга и барона Эльзенвангера. — Идите сюда. Вы же видите, он не кусается.

Имя «Константин» будто всколыхнуло все существо незнакомца. Он вздрогнул, а выражение лица стало меняться с невероятной быстротой, на какую способен только мастер мимической техники, который строит перед зеркалом всевозможные гримасы. Создавалось впечатление, что кости носа, челюстей и подбородка обрели вдруг мягкость и пластичность, и на глазах произошло полное преобразование — надменная личина фараона, претерпев ряд странных мимических метаморфоз, постепенно приняла черты, в которых нельзя было не узнать родовой тип Эльзенвангеров.

Не прошло и минуты, как от прежних перевоплощений не осталось и следа, и все присутствующие изумленно смотрели на совершенно другого человека.

Пригнув голову с распухшей, как от флюса, левой щекой, отчего глаз заплыл и превратился в щелочку, выпятив нижнюю губу, он на полусогнутых обошел мелкими шажками стол, будто искал чего-то, затем начал похлопывать себя, чтобы — как всем показалось — ощупью добраться до карманов и пошарить в них руками.

Наконец, заметив онемевшего от ужаса барона Эльзенвангера, который вцепился в руку своего приятеля Ширндинга, он кивнул ему и проблеял:

— Как хорошо, что ты здесь, Константин, а я весь вечер искал тебя.

— Господи Иисусе, Дева Мария, святой Йозеф! — возопил барон и бросился к дверям. — Смерть в доме! Помогите! Спасите! Это мой покойный брат Богумил!

Фон Ширндинг, лейб-медик и графиня, знавшие когда-то барона Богумила Эльзенвангера, тоже дрогнули: лунатик и впрямь говорил голосом усопшего.

Не обращая на них никакого внимания, Зрцадло зашевелился, забегал по комнате. Он трогал и передвигал какие-то воображаемые, доступные только его взору предметы, очертания которых стали вдруг улавливать и зрители этой пантомимы, настолько выразительны и точны были движения лицедея.

А когда тот наострил уши, сложил губы в дудочку, подкатился к окну и просвистел несколько тактов, словно приветствуя невидимого скворца в клетке, а потом из воображаемой коробочки вытащил невидимого мучного червячка и протянул его своему любимому певчему питомцу, все, кто наблюдал это, были настолько заморожены представлением, что совершенно забыли, где они находятся, вернее, как бы вдруг очутились в покоях живехонького барона Богумила.

И лишь когда Зрцадло отошел от окна и в свете горящих свечей стал ясно виден потертый бархат его пальто, иллюзия на какой-то миг развеялась, сменившись ужасом. И все молча и безвольно застыли в ожидании дальнейшего действия.

Зрцадло как будто о чем-то задумался, поднося к ноздрям нюхательное зелье из невидимой табакерки. Затем сдвинул резное кресло к середине помещения, где стоял воображаемый стол, и, склонив голову чуть набок, начал выводить в воздухе буквы, после того как привычными движениями очинил гусиное перо, и это было проделано с такой ужасающей, заволаживающей естественностью, что всем послышалось, как поскрипывает перочинный нож.

Господа, затаив дыхание, следили за этими манипуляциями, а слуг уже не было — по знаку Пингвина они на цыпочках покинули помещение. Глубокую тишину временами нарушали лишь жалобные стоны барона Константина, который не мог отвести взгляд от своего «покойного брата».

Наконец Зрцadlo, видимо, закончил письмо или то, над чем он трудился воображаемым пером, и сделал витиеватый росчерк, вероятно завершая им свою подпись. Затем с шумом отодвинул кресло, подошел к стене, запустил руку в какую-то нишу и извлек из нее самый настоящий ключ. После чего повернул деревянную розетку, украшавшую панель, и отпер оказавшийся в углублении замок. Потом выдвинул ящик, положил в него «письмо» и запер тайник.

Напряжение зрителей было так велико, что никто не услышал доносившийся из-за двери голос Божены: «Милостивый пан! Господин барон! Дозвольте войти!»

— Вы видели? Флюгбайль, вы тоже это видели? Натуральный выдвижной ящик, который открыл мой у-у-усопший братец! — запинаясь и всхлипывая, нарушил молчание барон Эльзенвангер. — А я даже не подозревал, что там есть такое. — Стеная и заламывая руки, он возопил: — Богумил, видит Бог, я ведь тебе ничего не сделал! Святой Вацлав, неужели он лишил меня наследства за то, что я тридцать лет не бывал в Тынском храме?!

Императорский лейб-медик двинулся было к стене, чтобы убедиться в наличии потайного ящика, но стук в дверь помешал ему сделать это.

Порог переступила высокая, стройная женщина, одетая в какую-то рвань. Божена представила гостью как Богемскую Лизу.

Некогда дорогое, с бисерной отделкой платье своим покроем и линиями, обтекающими плечи и бедра, все еще навело на мысль о том, сколько усилий было потрачено на него мастерами. Измятая до неузнаваемости, заскорузлая от грязи обшивка выреза и рукавов была сработана из настоящих брюссельских кружев.

Женщине, вероятно, было далеко за семьдесят, но черты ее лица, несмотря на страшную печать, оставленную на нем нищетой и страданиями, еще хранили следы замечательной былой красоты.

Уверенность, с какой она держалась, и спокойный, почти насмешливый взгляд, устремленный на троих гос-

под, — графиню Заградку она и им не удостоила — красноречиво говорили о том, что сие общество ей явно не импонирует.

Какое-то время она как будто наслаждалась смущением господ, которые в молодые годы, несомненно, имели с ней более короткие отношения, чем им хотелось бы продемонстрировать перед графиней. Выдержав паузу, женщина многозначительно ухмыльнулась и прервала лейб-медика, который начал мямлить что-то невразумительное.

— Господа послали за мной. Позвольте узнать, чем обязана.

Пораженная необычайно чистой немецкой речью и приятным, хотя и чуть хрипловатым голосом, графиня вскинула свой лорнет и, поднеся его к грозно сверкнувшим глазам, уставилась на старую шлюху.

По растерянному виду мужчин она безошибочным женским инстинктом угадала истинную причину их смущения и спасла положение — почти безнадежно неловкое — чередой прямых, остро заточенных вопросов.

— Этот человек, — она указала на Зрцадло, который застыл перед портретом дамы с пепельными волосами, чаровницы эпохи рококо, — час назад вломился сюда. Кто сей? Чего ему надо? Он живет у вас, я слыхала? Что с ним? Он сумасшедший? Или напил... — Графиня откусила конец слова. Стоило только вспомнить то, чему она была свидетельницей несколько минут назад, как ей снова стало не по себе. — Или... или... его лихорадит? Не болен ли он? — смягчила графиня резкость вопроса.

Богемская Лиза пожала плечами и медленно повернулась лицом к строгой дознавательнице. Взгляд воспаленных, без единой ресницы глаз, устремленный куда-то в пространство, словно перед ней было пустое место, а не фигура старой аристократки, стал настолько высокомерен и презрителен, что графиня, вопреки своей натуре, покраснела.

— Он упал со стены в парке, — поспешил вмешаться императорский лейб-медик. — Мы уже подумали, он зашибся насмерть, и потому послали за вами. Кто он такой

и чем занимается, — Пингвин выжимал из себя поток слов, опасаясь дальнейшего обострения ситуации, — не суть важно. По всей видимости, этот господин — лунатик... Вы ведь знаете, что сие означает?.. Я сразу подумал, что знаете... Да... Вот... И в ночное время за ним надо бы присматривать, чтобы не убился... Не окажете ли вы любезность проводить его домой? Лакей или Божена, если пожелаете, помогут вам... Вот... Да... Не правда ли, барон? Надеюсь, вы позволите?

— Еще бы. Только бы он убрался, — заскулил Эльзенвангер. — Да поскорее! О Господи!

— Я знаю только, что его зовут Зрцадло, и, по всей вероятности, он актер, — спокойно сказала Богемская Лиза. — Ночами он бродит по кабакам и дурачит публику... Да и знает ли он сам, кем себя считать, — женщина пожала плечами, — одному Богу известно... У меня хватает такта не интересоваться делами моих постояльцев. — Пан Зрцадло, нам пора! Пойдемте! Вы же видите, здесь все-таки не трактир.

Она подошла к лунатику и взяла его за руку.

Зрцадло покорно двинулся к двери. Черты покойного барона Богумила были окончательно стерты с его лица. Он как бы вырос и подтянулся. Походка обрела уверенность и упругость. Постепенно он становился самим собой, хотя по-прежнему не замечал окружающих, словно был наглухо закрыт для внешнего мира, как при погружении в гипнотический сон.

Но и надменная гримаса египетского царя тоже бесследно исчезла. Маски слетели, остался только актер. Но какой актер! Он тоже был маской, личиной из плоти и крови, в любой момент готовой к новым, неожиданным метаморфозам, — маской, которую облюбовала бы смерть, пожелай она затесаться в толпу живых людей. «Вот лик существа, — подумал императорский лейб-медик, вновь охваченный смутной тревогой при мысли о том, что где-то уже видел этого человека, — существа, которое способно быть сегодня *одним*, а завтра совершенно другим, иным в глазах не только всех прочих, но

и самого себя, — не подверженный тлению труп и в то же время сгусток пронизывающих мир психических токов; он не только наречен зеркалом, но и, возможно, является таковым».

Богемская Лиза выпроводила лунатика за порог, но императорский лейб-медик улучил момент шепнуть ей:

— Ступай, Лизинка, завтра я тебя навещу... Никому ни слова о том, что здесь было. Мне надо кое-что разузнать про этого Зрцадло.

Он еще немного постоял в дверях, прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестницы, вернее, к ожидаемому разговору, который, однако, свелся к увещаниям старой женщины:

— Пойдем, пойдем, Зрцадло. Ты же видишь, здесь не трактир!..

Между тем господа уже перешли в соседнюю комнату, сели за ломберный стол и ждали только лейб-медика.

По бледным от волнения лицам своих друзей он понял, что на самом деле им не до карточной игры и они лишь исполняют волю властной старухи, усадившей их за стол для привычного вечернего развлечения, так, будто не случилось ровным счетом ничего.

«Нынче будет не вист, а сплошная морока», — отметил про себя лейб-медик, ничем не выдавая, однако, своих сомнений, и, с видом клюющей птицы отвесив поклон, сел напротив графини, которая с нервной дрожью в руках сдавала карты.

Глава вторая

НОВЫЙ СВЕТ

Испокон веков Флюгбайли, то есть «Летающие топоры», подвизавшиеся императорскими лейб-медиками, подобно дамокловым мечам нависали над всеми венце-

носными головами правителей Богемии, готовые в мгновение ока обрушиться на своих жертв при малейших признаках недуга, — таков был приговор дворянского общества Градчан, и правота его как бы подтверждалась тем обстоятельством, что с кончиной вдовствующей императрицы Марии-Анны был обречен на угасание и род Флюгбайлей в лице его последнего отпрыска — старого холостяка Тадеуша по прозвищу Пингвин.

Ход его холостяцкой жизни, по которому можно было сверять часы, претерпел досадный сбой из-за ночного происшествия с лунатиком Зрцадло.

Сонмище пестрых видений заполонило его дремлющий ум, и среди них вспыхивали даже чувственные образы первой молодости, овеванной, конечно, и чарами Богемской Лизы, красивой и обольстительной в ту далекую пору.

Дразнящий причудливый морок фантазий, венчавшихся престранным ощущением, будто он держит в руке альпеншток, заставил его наконец проснуться в неподобающе ранний час.

Каждый год 1 июня, ни раньше ни позже, господин императорский лейб-медик вояжировал в Карлсбад на воды, предпочитая дрожки железной дороге, поскольку считал ее еврейским промыслом.

Когда Карличек — так звали солового одра, коему доверялось тащить экипаж, — повинуюсь настойчивым понуканиям кучера в красном камзоле, дотягивал до пражского предместья Голлешовице, что в пяти километрах от центра, всякий раз делалась первая остановка для ночлега, чтобы на следующий день продолжить трехнедельное путешествие и потихоньку-полегоньку, по лошадиному хотению все-таки добраться до Карлсбада, где Карличек мог вволю набивать брюхо овсом, пока не обретал вид розовой колбасы на тонких ножках, в то время как господин лейб-медик укреплял здоровье пешими прогулками.

Появление на отрывном календаре над изголовьем кровати долгожданной даты 1 мая всегда служило сигналом к началу сборов, но на сей раз господин лейб-медик

даже не взглянул на календарь, остановив время на отметке 30 апреля с жутковатым напоминанием: Вальпургиева ночь. Он направился к письменному столу, раскрыл огромный фолиант в переплете из свиной кожи, с латунными уголками, в котором с прадедовских времен Флюгбайли мужеска пола делали дневниковые записи, и начал просматривать свои юношеские откровения, пытаясь установить, не встречал ли он прежде, а если так, то где и когда, этого самого Зрцадло — будь он неладен. Предположение, что они уже виделись, не давало лейб-медику покоя.

Дневник он начал вести в двадцать пять лет, в день кончины отца, и каждое утро неукоснительно поверял бумаге свои мысли и впечатления, по примеру достопамятных предков снабжая каждую запись порядковым номером. Теперь он поставил цифры 16117.

Поскольку в молодые годы он не мог знать, что проживет весь век холостяком и не обзаведется семейством, все, что касалось любовных увлечений, он — также по образцу предшественников — обозначал мудреной тайнописью, понятной только самому автору, дабы никто и никогда не сунул нос в эту сокровенную сферу.

Таких «затемнений» в дневнике было совсем немного, раз в триста меньше, чем отчетов о съеденных в трактире «У Шнелля» гуляшах, что тщательно фиксировалось в хронике текущих событий.

Несмотря на то что в дневник добросовестно вносились записи даже о самых незначительных вещах, никакого упоминания о лунатике Зрцадло лейб-медику обнаружить не удалось, и в конце концов он разочарованно захлопнул фолиант.

Но еще во время чтения его царапнуло неприятное чувство: пробегая глазами некоторые записи, он впервые за свою земную жизнь ненароком узрел ее унылое, в сущности, беспросветное однообразие. И это он, готовый гордиться своей размеренной и наперед просчитанной жизнью, в чем с ним едва ли могли соперничать даже представители рафинированного градчанского общества.

Сама кровь в его жилах — пусть и не голубая, а бургерская — противилась всякой спешке и плебейской тяге к прогрессу. И вдруг на тебе! Под еще свежим впечатлением ночи в замке барона он почувствовал в себе некие поползновения, для которых и благородных слов не подберешь, — что-то вроде жажды приключений, недовольства рутинной или любопытства, толкающих к познанию необъяснимых вещей.

Он оглядел свою комнату, и она показалась ему постылой. Голые, выбеленные известкой стены раздражали его. Раньше такого не было! С чего бы это?

Он злился на самого себя.

Три комнаты, предоставленные ему по выходе на пенсию канцелярией его императорского величества, находились в южном крыле Града. С высоты своего подоконника, вооружившись длинной подзорной трубой, он мог обозревать нижний мир, Прагу и дали до самого горизонта — мягкие волнистые линии холмов и островки леса, а из другого окна открывался вид на серебристую ленту верховья Влтавы, куда она не терялась в дымке.

Чтобы как-то отвлечься от будоражащих мыслей, он подошел к своему «дальнозору» и направил его в сторону города, что называется, навскидку.

Прибор обладал такой увеличительной силой, что в поле зрения оказывался лишь крошечный пятячок пространства, а предметы придвигались угрожающе близко, прямо-таки рукой достать.

Господин лейб-медик нагнулся и приложил глаз к окуляру со смутной, почти неосознанной надеждой увидеть на крыше трубочиста или какой иной счастливый знак, но тут же в ужасе отшатнулся.

На него глаза в глаза глянула Богемская Лиза, с коварной усмешкой на лице и воспаленными, без ресниц веками, она словно увидела его и встретила язвительной усмешкой!

Впечатление было столь ошеломляющим, что Пингвин содрогнулся и, забыв о трубе, уставился в слепившее солнечным светом пространство, не на шутку опа-

саясь, что старая шлюха вот-вот появится перед ним, как призрак в воздухе, а то и верхом на метле.

Когда же он наконец взял себя в руки, подивившись игре случая и обрадованный столь естественным объяснением, и прильнул к трубе, старуха уже исчезла, но в глаза лезли незнакомые, до странности напряженные лица, и лейб-медик почувствовал, что это напряжение передалось и ему.

По тому, как они толкались, по размашистой жестикуляции, по раздираемым криками ртам он понял, что собралась негодующая толпа, но о причине людского возмущения издали судить было невозможно. Ничтожнейшее смещение трубы — и перед ним предстала совсем иная картина, поначалу довольно размытая: какой-то темный прямоугольник, который после поворота линзы превратился в окно под самой кровлей, его створки белели полосками газетной бумаги на трещинах стекол.

В проеме — фигура сидящей молодой женщины, тело прикрыто лохмотьями, на мертвенно-бледном лице словно въевшиеся тени вокруг глазных впадин. С тупым равнодушием животного она смотрела на обтянутый кожей скелетик младенца, который лежал перед ней и, должно быть, умер у нее на руках. Яркое солнце, залившее их обоих, с ужасающей четкостью высвечивало каждую деталь этой картины и создавало невыносимо жестокий контраст человеческого горя и сияния весеннего дня.

— Война. Одно слово — война, — вздохнул Пингвин, отодвигая трубу, чтобы печальное зрелище не повредило аппетиту перед вторым завтраком. — А это, видать, тыльная сторона какого-то театра, — произнес он себе под нос, когда развернулось новое зрелище: двое рабочих в окружении зевак — уличных мальчишек и старых теток в платочках — выносили из распахнутых дверей гигантский холст, на котором был изображен пышнобородый старец, возлежавший на розовом облаке и с неземной кротостью в глазах воздевший благословляющую десницу, в то время как его левая рука заботливо обнимала глобус.

Недовольный и с какой-то кашей в голове, Флюгбайль вернулся в большую комнату и молча выслушал экономку, доложившую, что Венцель ждет внизу. Лейб-медик надел цилиндр, перчатки, прихватил трость, отделанную слоновой костью, и спустился по каменной лестнице, от которой еще веяло зимним холодком, во двор замка, где кучер уже поднимал верх коляски, чтобы в нее мог взгромоздиться высоченный седок.

Экипаж уже грохотал вниз по крутой улице, когда Пингвину что-то взбрело в голову и он принялся барабанить пальцами по дребезжавшему окошку, покуда Карличек не соблаговолил упереться передними ходулями в мостовую, а Венцель не подскочил к дверце.

Откуда ни возьмись появилась ватага гимназистов. Они обступили коляску и, увидев в ней Пингвина, наглядно продемонстрировали свои зоологические познания беззвучным танцем полярных птиц, как бы трепыхая недоразвитыми крыльями и норовя зацепить друг друга длинными клювами.

Не удостоив взглядом охальников, господин лейб-медик шепнул пару слов кучеру, от чего тот в буквальном смысле остолбенел.

— Ваше превосходительство... — выдавил он наконец. — Как же можно?... В Мертвецкий-то переулочек? К этим... прости господи...

— ...А Богемская-то Лиза живет вовсе не там, — с облегчением пролепетал он, когда Пингвин более подробно разъяснил ему свое намерение. — Она ж в Новом Свете проживает.

— Как? Внизу? — переспросил лейб-медик и, поморщившись, посмотрел в окно на лежавшую в долине Прагу.

— Не извольте сомневаться. Там, где Олений ров тянется.

При этом кучер указал большим пальцем на небеса и описал рукой петлю в воздухе, будто старая дама жила где-то в недосягаемых сферах, за облаками, между небом и землей.

Несколько минут спустя Карличек уже одолевал крутой бугор Шпорненгассе, спокойно и медлительно, как привыкший к высоте кавказский мул.

Императорский лейб-медик подумал о том, что лишь полчаса назад в подозрную трубу наблюдал Богемскую Лизу на одной из пражских улиц, и это навело его на мысль о возможности с глазу на глаз поговорить с актером Зрцадло, который жил у старухи. А эта встреча могла стать столь полезной и поучительной, что не страшно было отказаться от второго завтрака «У Шнелля».

Через некоторое время императорский лейб-медик вышел из дрожек и двинулся пешком, дабы избавить себя от назойливых взглядов обывателей. Улочка, именуемая Новым Светом, представляла собой кривой ряд домишек, стоявших порознь напротив полуциркульной стены, по верху которой шел своего рода фриз — рисунки мелом, и, хотя их вывела неумелая детская рука, можно было догадаться, что сия роспись самым дерзким образом выставляет напоказ то, чем родители занимаются втайне от детей. Кроме нескольких ребятишек, которые с радостным визгом крутили волчки на утопавшей в известковой пыли дороге, не было видно ни души. Со стороны Оленьего рва, заросшего цветущими деревьями и кустами, плыл густой аромат жасмина и сирени, а вдалеке, окруженный шпалерами фонтанных струй, в лучах полуденного солнца дремал летний дворец императрицы Анны, напоминая позеленевшей медью кровли огромного глянцевого жука.

У лейб-медика вдруг сильно забилося сердце. Навевающий сонную негу весенний воздух, дурман цветочных ароматов, детский смех, город внизу, подернутый золотистой дымкой, взметнувшийся к небу контур собора, вокруг которого роились галдящие галки, — все это почему-то вновь пробудило смутное чувство вины перед самим собой. Неужели он всю жизнь обманывал свою душу?

Пингвин даже загляделся на потеху детей, на то, как ударами кнута они заставляли крутиться в вихрях белой пыли пестрые, похожие на кегли волчки. В детстве он не

знал такой забавы, и теперь ему казалось, что он проспал долгую и счастливую пору человеческой жизни.

Домишки, в открытые двери которых он заглядывал, чтобы разузнать, как найти лицедея Зрцadlo, встречали его мертвой тишиной.

В сенях одного из них был выгорожен закуток с застекленными оконцами, вероятно, в мирное время здесь продавали булочки, обсыпанные синими маковыми зернышками, или огуречный рассол, в котором, по местному обычаю, вымачивали сыромятный ремень, чтобы клиент, выложив геллер, мог обсосать его целых два раза.

Над дверями другого дома висела черно-желтая вывеска с обшарпанным изображением двуглавого орла и полустертой надписью, извещавшей, что у хозяина имеется лицензия на торговлю солью.

Но все вместе производило тягостное впечатление руин давно умершего бытия.

Даже лист бумаги с большими, некогда черными буквами: «Zde se mandluje», что должно было означать: «За десять крейцеров прачки могут здесь катать белье в течение часа», наполовину истлел и ясно давал понять, что хозяин сего предприятия расстался с надеждой на всякий доход.

Безжалостная фурия войны повсюду оставила следы своих разбойных налетов.

Лейб-медик решил наудачу заглянуть в последнюю лачугу, из трубы которой длинным червяком вился сероватый дымок, исчезая в безоблачном майском небе. После долгого безответного стука в дверь Флюгбайль вздрогнул, увидев перед собой Богемскую Лизу. На коленях — деревянная плошка с хлебной похлебкой, на лице — выражение чуть ли не радостного удивления. Она сразу узнала выросшую на пороге фигуру.

— Привет тебе, Пингвин! Ты ли это?!

Убогая комната, служившая одновременно кухней, столовой и спальней, о чем свидетельствовали груды тряпья, клочья сена и скомканные газеты в углу, заросла грязью и паутиной. Стол, стулья, комод, миски и чашки

стояли и валялись так, будто участвовали в какой-то оргии; божеский вид имела лишь сама хозяйка, которая даже лицом посветлела, обрадованная неожиданным визитом.

К продранным красноватым обоям присохли тронутые тлением лавровые венки с выцветшими голубыми лентами, на которых можно было прочесть самые лестные комплименты: «Великой чародейке искусства» и так далее, а рядом висела украшенная бантами мандолина.

С естественной непринужденностью великосветской дамы Богемская Лиза продолжала спокойно сидеть, однако удостоила гостя жеманной улыбкой и протянула ему руку. Залившись краской, господин лейб-медик пожал ее, но целовать воздержался.

Хозяйка великодушно не заметила этого упущения по части галантности и, дохлебывая свое варево, начала беседу учтивыми фразами о прекрасной погоде и о том, сколь приятно ей принимать у себя в лице его превосходительства своего доброго старого друга.

И вдруг, отбросив церемонии, перешла на приятельский, можно сказать, фамильярный тон:

— А ты, Пингвин, все такой же симпатяга, sakramensky chlap¹, — сказала она, сдобрив литературный немецкий толикой пражского жаргона. — Красавчик, хоть зашибись...

Похоже, на нее нахлынули воспоминания, и в ностальгической истоме она даже закрыла глаза. Императорский лейб-медик с напряжением ждал новых словесных перлов.

И действительно, сложив губы в трубочку, она хрипло заворковала:

— Ну где же ты! — и распростерла объятия.

Пингвин в ужасе попятился, не сводя с нее вылезших на лоб глаз.

Не обращая на него внимания, она кинулась к полке на стене, дрожащей рукой схватила какой-то портрет —

¹ Фартовый парень (чеш.).

один из стоявших там блеклых дагеротипов. Старуха поднесла его к губам и стала осыпать страстными поцелуями.

У господина лейб-медика перехватило дыхание. Он узнал свой собственный портрет, который подарил ей лет сорок тому назад.

Богемская Лиза осторожно, с трогательной нежностью вернула фотографию на место, затем стыдливо прихватила кончиками пальцев рваную юбку, задрала ее до колен и, точно вакханка, мотая лохматой нечесаной головой, начала выплясывать какой-то дикий гавот.

Флюгбайль застыл как в столбняке. Комната со всем ее скарбом поплыла перед глазами, закрутилась каруселью. «Dance macabre»¹, — мелькнуло у него в голове, и оба эти слова, обрастая завитушками, нарисовались в виде подписи под старинной гравюрой, которую он видел однажды в лавке антиквара.

Он не мог оторвать глаз от костлявых ног старухи в сползающих, позеленевших от времени черных чулках. С перепугу он хотел было броситься к двери, но не успел он осознать это решение, как оно отменилось само собой. Прошлое и настоящее, проникая друг в друга, затеяли какую-то магическую игру, совсем заморочив его, и он уже не мог понять: то ли сам он еще молод, а та, что пляшет перед ним, в мгновение ока состарилась и превратилась в беззубое страшилище с воспаленными дряблыми веками, то ли все это сон, потому что ни он, ни она никогда не были молоды.

Неужели эти плоские разбитые лапы с приросшими к ним прелыми лоскутьями вконец сношенных башмаков, эти окаменелые ступни, которыми старуха притопывала в ритме танца, были теми изящными, нежными ножками, что когда-то сводили его с ума?

«Она, поди, годами не снимала эти опорки, иначе бы от них совсем ничего не осталось. Так и спит в них, — рассеянно отметил он, но эту мысль тут же вытеснила

¹ Пляска смерти (фр.).

другая, куда более мрачная: — Как страшно истлевать в незримом могильнике времени, когда ты еще жив».

— А помнишь, Тадеуш! — с чувством воскликнула Богемская Лиза и скрипучим голосом пропела:

Ты — холодный кремешок,
Но исторгнешь без труда
Искру даже из льда.

И тут она как бы опамятовалась, упала в ветхое кресло и, скорчившись, будто от внезапной острой боли, закрыла руками лицо, по которому катились слезы.

Лейб-медик тоже пришел в себя и попытался даже встрепенуться, но снова пал духом, когда с неожиданной ясностью вспомнил, как всего лишь несколько часов назад в беспокойном сне с упоением обнимал юное цветущее тело — то самое, которое сейчас напоминало живую мумию, закутанную в лохмотья и содрогаемую рыданиями.

Он шевелил губами, собираясь что-то сказать, но так и не находил нужных слов.

— Лизель, — вымолвил он наконец, — тебе так плохо живется? — Он обвел взглядом комнату, и его особенно разжалобила деревянная плوشка. — Лизель, э-э... могу я тебе как-то помочь?

«А ведь раньше на серебре едала, — подумал он, и его передернуло при виде целых залежей грязного хлама, — да... и спала на пуховых перинах...»

Старуха энергично замотала головой, не отрывая от лица ладоней. Флюгбайль слышал глухой стон, который она тщетно пыталась подавить.

С фотопортрета на полке смотрел он сам — косой луч, отраженный мутноватым зеркалом, осветил всю маленькую галерею: стройные, как на подбор, молодые кавалеры, он знал их всех, а с некоторыми видится и по сию пору; теперь это — чопорные седовласые князья и бароны. Неужели перед ним его собственный образ? Веселые, смеющиеся глаза, мундир с золотым позументом, трюг под мышкой...

Как только он узнал себя, возникло искушение тайком унести фотографию, и он шагнул было к полке, но тут же устыдился своего намерения.

Плечи старухи все еще подрагивали от приглушенных рыданий, он смотрел на нее с высоты своего роста и проникся вдруг чувством искреннего, глубокого сострадания.

Грязные космы уже не внушали брезгливого ужаса, и он робко, словно боясь собственной дерзости, погладил старуху по голове.

Это как будто успокоило ее, и она постепенно затихла, точно убаюканное дитя.

— Лизель, — вновь заговорил он почти шепотом, — ты только не подумай... э-э... Я понимаю, тебе плохо. Но ты же знаешь... — он с трудом подыскивал слова, — сейчас война... И всем нам приходится голодать. — Он смущенно откашлялся, чувствуя, что врет, поскольку голод был для него сугубо теоретическим понятием, что ни день, ему «У Шнелля», помимо прочего, тайком совали под салфетку свежеиспеченную соленую соломку из первосортной муки. — Ну так вот... теперь я знаю, как тебе туго, но ты не отчаивайся, я... помогу тебе... Как же иначе?.. А война... Что война?.. Не сегодня завтра войне конец, — он старался придать своему голосу предельно бодрое звучание, — и ты сможешь опять зарабатывать... — Он осекся, вспомнив, чем она жила. Кроме того, о «работе» в данном случае говорить было более чем странно. — Да... зарабатывать по-прежнему, — вполголоса закончил он фразу, не найдя подходящего слова.

Она прильнула к его руке и молча поцеловала ее. Флюгбайль почувствовал, как ладонь увлажнилась слезами. «Ну полно тебе, оставь», — вертелось у него на языке, но он, не вымолвив ни слова, растерянно огляделся по сторонам, будто из опасения обнаружить свидетелей этой сцены.

Какое-то время оба молчали. Потом она что-то забормотала, но он почти ничего не понял.

— Я-а-а-а благодар... — сквозь рыдания произнесла наконец старуха, — я благодарна тебе, Пинг... тебе, Таде-

уш. Только ради бога, никаких денег, — торопливо продолжала она, словно упреждая его новые великодушные порывы, — я ни в чем не нуждаюсь. — Она резко выпрямилась и повернулась к стене, чтобы он не видел искаженного гримасой страдания лица, но еще крепче, почти судорожно сжала его руку. — У меня все хорошо... Я так счастлива, что ты... не погнушался мною... Нет, правда... у меня все хорошо... Знаешь, до чего страшно вспоминать былое. — Ее снова душили рыдания, и она коснулась рукой горла, будто желая облегчить дыхание. — Но уж совсем беда, если не можешь состариться.

Пингвин испуганно вздрогнул, решив, что старуха бредит, но, когда она заговорила спокойнее, до него постепенно дошел смысл ее слов.

— Когда ты вошел, Тадеуш, я почувствовала себя прежней, я вновь стала юной — той, которую ты любишь. И такое со мной часто бывает. Иногда забываешься чуть не на четверть часа. Особенно на улице. Идешь и не знаешь, какая ты на самом деле. Кажется, люди смотрят на тебя, любуясь юной красотой. А потом, конечно, когда мальчишки заорут вслед... — Она закрыла лицо руками.

— Ну вот еще, нашла о чем горевать! — утешал ее Флюгбайль. — Дети, Лизель, жестокие существа и не ведают, что творят. Не держи на них зла, и когда они увидят, что им тебя не пронять...

— Думаешь, я злюсь на них?.. Я никогда никого не поминала лихом. Даже Господа Бога. А уж ему-то теперь попенять может каждый... Нет, не в этом дело... Но всякий раз, когда тебя заставляют очухаться... Правда, Тадеуш, пробудиться от этого сладкого сна страшнее, чем сгореть заживо.

Пингвин вновь огляделся, задумчиво наморщив лоб. «Если бы внести в этот бедлам немного домашнего уюта, возможно, она бы...»

Старуха будто угадала его мысли.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ	5
ЗЕЛЕНый ЛИК	171
Комментарии. <i>В. Фадеев, Г. Снежинская</i>	407

Майринк Г.

М 14 Вальпургиева ночь : романы / Густав Майринк ; пер. с нем. В. Фадеева. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 416 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-14697-6

Густав Майринк — знаменитый австрийский писатель-экспрессионист. Всемирную славу принес ему роман «Голем», один из самых известных мистических романов в европейской литературе. Не менее известны его романы «Вальпургиева ночь» и «Зеленый лик», вошедшие в настоящее издание.

Действие романа «Вальпургиева ночь», так же как и действие «Голема», происходит в Праге, фантастическом городе, обладающем своей харизмой, своими тайнами и фантазиями. Это роман о мрачных предчувствиях, о «вальпургиевой ночи» внутри каждого из нас, о злых духах, которые рвутся на свободу и грозят кровавыми событиями.

Роман «Зеленый лик», написанный сразу после «Голема», также хранит в своей основе старинное предание. Место Голема в «Зеленом лике» занимает Агасфер, или Вечный жид, который, согласно легенде, подгонял ударами несущего крест Спасителя, за что и был обречен на вечные скитания...

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

Литературно-художественное издание

ГУСТАВ МАЙРИНК
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректор Валентина Гончар

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 19.04.2018. Формат издания $75 \times 100 \frac{1}{32}$.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 18,33. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AKB-22977-01-R